

Михаил Петрович Арцыбашев

Паша Туманов



Михаил Арцыбашев
Паша Туманов

«Public Domain»

1905

Арцыбашев М. П.

Паша Туманов / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1905

«Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире. Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний...»

Содержание

I	5
II	6
III	8
IV	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Михаил Петрович Арцыбашев

Паша Туманов

I

Перед закрытой желтой дверью приемной полицмейстера, в маленькой грязной передней с давно не крашенным полом, опершись спиной о вешалку, стоял рябой малорослый полицейский солдат в перепачканном пухом и мылом и разорванном под мышкой мундире.

Вид у этого солдата был самый смиренный и глупый, но это не помешало ему изобразить на своей физиономии начальственную строгость, когда в переднюю вошел посторонний.

Этот посторонний, попавший в комнату, куда посторонним вход строго воспрещается иначе как в указанное, от двенадцати до трех часов, время, был юноша в худой гимназической шинели и такой же фуражке. Роста он был среднего, большеголовый, с некрасивым, но довольно симпатичным лицом; на щеках и верхней губе его вполне ясно обозначался неровный пух усов и бороды. Он был красен и, видимо, возбужден.

Вошел он очень быстро, точно за ним кто гнался, и, войдя, сейчас же снял шапку.

— Здесь приемная полицмейстера? — спросил он так громко, как будто давно приготовил этот вопрос в такой именно громкой и решительной форме.

— Здеся, — ответил солдат, с видимым неудовольствием покидая свое занятие и отделяясь от вешалки.

«И чего шлятся, — подумал он, — сказано: от двенадцати до трех, ну и нечего... только народ беспокоят!..»

— Сюда пройти? — так же громко и решительно спросил гимназист, делая движение к запертой двери приемной.

— Сюда. Да только они не принимают, — ответил солдат, загоразживая дверь.

— Мне нужно.

— Пожалте от двенадцати до трех, — равнодушно сказал солдат и потянулся рукой к своему носу.

— Мне сейчас нужно.

— Не приказано пущать.

Гимназист как-то весь осел и замялся, обескураженный этим ничтожным и неожиданным препятствием, сбивавшим его с того торжественного, важного и печального пути, который представлялся ему, когда он ехал сюда. Этот равнодушный и неряшливый солдат так не вязался с его представлением, что одну секунду он едва не вышел из передней. Но в дверях остановился, побагровел и выпалил:

— Мне надо заявление: я человека убил!

— Чего-с? — глупо спросил солдат.

И гимназист молчал и смотрел на солдата, и солдат, выпучив глаза и глупо ухмыляясь, смотрел на него.

— Пожалте... — наконец сказал солдат, сомнительно качнув головой, толкнул дверь в приемную и посторонился.

Гимназист надел зачем-то фуражку, но сейчас же снял ее и вошел. Солдат тупо поглядел ему в спину.

II

В большой светлой комнате, украшенной портретами лиц царской фамилии, находились в это время четыре человека: сам полицмейстер, видный, представительный мужчина с большими усами и перстнями на пальцах, его помощник, толстый человек с большим животом и багровой физиономией, с трудом ворочающейся на короткой шее без кадыка, и пристав, высокий, худой, чахоточный, на узких плечах которого мундир и шашка висели как на вешалке. Четвертый был господин в вицмундире с форменными пуговицами, с большой рыжей бородой и синими очками на кончике толстого угреватого носа. Он перебирал бумаги на столе у самого окна, стоя и через плечо прислушиваясь к тому, что говорил полицмейстер.

А полицмейстер, сидевший лицом к входной двери, облокотясь обеими руками на стол, покрытый зеленым сукном, рассказывал, смеясь и жестикулируя, как дочь одного часового мастера-еврея, захваченная облавой на проститутку, несмотря на уверения отца, что она «еще совсем дитю», оказалась беременной.

– Ха-ха-ха, совсем дитю! – беззаботно смеялся полицмейстер, и его здоровый корпус, туго затянутый в полицейский мундир, колыбался во все стороны.

Помощник, который вообще никогда ничего не чувствовал, кроме своей толщины, страдал от жары и скуки, хотя и улыбался, когда смеялся полицмейстер.

Пристав как палка стоял перед ними и тоже улыбался, хотя ему было тяжело стоять, потому что он был слабый и больной человек. Он смотрел на здорового, сильного, вкусно смеющегося полицмейстера, перед которым должен был стоять, с ненавистью и злобой, не смея, конечно, прервать его никому не нужную, праздную болтовню напоминанием о принесенной им срочной бумаге.

Секретарь же, который терпеть не мог полицмейстера за его грубость и бурбонство, слушал его с наслаждением, потому что сегодня узнал из верных уст, что конец полицмейстерской карьеры близок. Об этом ему говорили в канцелярии губернатора, как о решенном деле, тогда как сам полицмейстер, очевидно, ничего не подозревал.

«Не смеялся бы ты, если б знал!» – злорадно думал секретарь.

Когда вошел гимназист, все сразу повернули к нему головы, и полицмейстер замолчал на половине фразы.

Гимназист как вошел, так и стал посреди комнаты, торопливо вытаскивая что-то из кармана шинели, что цеплялось там и упорно не хотело вылезать на свет.

Пристав счел своим долгом подойти и опросить его, а так как то же думал и секретарь, то они оба разом спросили:

– Что вам угодно?

Но гимназист молчал и растерянно поглядывал то на одного, то на другого, продолжая тащить что-то из кармана. Оттуда посыпались крошки, должно быть пирожного. Гимназист сопел и краснел, лицо у него сделалось жалкое, беспомощное, шея вспотела.

Пристав, изогнув, как дятел, голову набок, заглянул одним глазом ему в карман и что-то хотел спросить, но в это время гимназист, совсем выворотив карман, вытащил, наконец, маленький блестящий револьвер и подал его почему-то прямо полицмейстеру. Тот невольно протянул руку и взял.

– Я директора убил, – вдруг заявил гимназист жидким, заплетающимся голосом.

– Как-с? – спросил полицмейстер, высоко поднимая брови.

– Кого? – произнес и его толстый помощник, на жирном лице которого появился испуг.

– Директора... Владимира Степановича... – совсем упавшим голосом повторил гимназист.

– Вознесенского? Владимира Степановича? – воскликнул полицмейстер.

– Да, – прошептал гимназист.

Тогда все сразу задвигались, заговорили и засуетились. Полицмейстер начал прицеплять шашку, путая португепю; пристав побежал рысью приказать подать дрожжи; помощник ужасался и искал шапку, и все что-то кричали, перебивая друг друга и совершение позабыв о виновнике происшествия. Уже уходя, полицмейстер вспомнил о нем и обратился к нему негодующим тоном:

– Да вы кто такой?

Гимназист не отвечал. Он, очевидно, не особенно хорошо сознавал, что с ним произошло, и бессмысленно мямлил фуражку своими потными ладонями.

Пристав подскочил к нему и прошипел ему почти в ухо:

– Кто такой?

– Павел Туманов... шестого класса... – машинально ответил гимназист, поворачиваясь прямо к нему, отчего пристав даже немного сконфузился и сделал рукой такое движение, будто почтительно направлял ответ в сторону полицмейстера.

– Надо ехать, – взволнованно проговорил полицмейстер.

– Какое несчастье! Матвей Иванович, – обратился он к помощнику, – вы со мной?

– Да, да, – запыхтел помощник, торопливо берясь за фуражку.

– Виктор Александрович, – почтительно остановил полицмейстера пристав, – а как же с ними? – он кивнул в сторону гимназиста.

– А, да... задержать здесь до моего возвращения.

– А револьверчик?

– А, да... как же, как же, – вещественное доказательство... спрячьте! Да вы со мной поедете, а этого... Андрей Семенович, распорядится. Распорядитесь, Андрей Семенович!... – кинул полицмейстер, исчезая в дверях.

– Хорошо-с, – хмуро ответил секретарь, не двигаясь с места.

Пристав просительно кивнул ему и тоже убежал. Через минуту под окнами прогремели одна за другой две пролетки, уносившие полицейские власти на место преступления.

III

В приемной остались секретарь за своим столом и гимназист, все еще с вывороченным карманом стоявший посреди комнаты. В открытую дверь заглядывали уже прослышавшие о происшествии писцы и городовые, любопытно оглядывая гимназиста.

Секретарь чувствовал себя неловко. Он зачем-то, ступая почти на цыпочках, прошел через комнату, запер дверь, любопытным погрозил пальцем и, возвращаясь на свое место, пробормотал:

– Садитесь... что же вы стоите...

Гимназист машинально отошел к стенке и сел на стул, не переставая мять потными ладонями свою фуражку.

Секретарь тихо уселся на свое место. Ему было жаль мальчика, и ему как-то не верилось, что перед ним – убийца. Он притворился, что не обращает на гимназиста никакого внимания, и усердно стал шуршать бумагой, только изредка с любопытством кидая быстрые взгляды на неподвижно сидевшего преступника.

Паша Туманов сидел под самым окном в неудобной, напряженной позе и не шевелился, крепко сжав губы и сопя носом. Он смотрел в одну точку – на просыпанные им на пол крошки пирожного – и чувствовал мучительное желание их убрать: ему казалось, что они нестерпимо резко видны на желтом, чисто вымытом полу и имеют какое-то отношение к тому, что случилось.

Но ему только казалось, что именно эти крошки возбуждают в нем такое тяжелое желание; на самом деле его мучила потребность убрать куда-нибудь то безобразное и нелепое, что случилось с ним в это утро и острым клином торчало теперь в его жизни, уродуя и коверкая ее. На него нашло какое-то мертвенное отупение. Он даже не мог отдать себе ясного отчета в том, каким образом началось, продолжалось и окончилось «это» и как он очутился здесь и зачем сидит в большой пустой комнате, в присутствии большого, бородатого, в синих очках господина, шелестящего бумагой. Порой ему казалось, что надо встать и уйти, и тогда все это просто кончится и окажется каким-то пустяком, даже веселым и юмористичным... но сейчас же все обрывалось и сбивалось в бестолковую массу каких-то картин, обрывков слов и красных пятен, которые начинали расплываться, расширяться и, наконец, заливали все багровой мутью, где прыгали какие-то знакомые, но ужасные лица.

Тогда Паша Туманов встряхивался где-то внутри себя и на мгновение опять видел большие светлые окна, силуэт бородатой головы и слышал короткий шелест бумаги.

Это было состояние, близкое к бреду.

Среди бесформенного хаоса, расплывчатого, тяжелого, Паша Туманов чувствовал, что видит что-то, что надо сейчас же сделать: что-то очень важное, имеющее решающее значение, но что именно, он не мог отдать себе отчета, и это начинало мучить его так, что крошки на полу стали казаться пустяком. Он сделал усилие и поймал...

Это оказалось вывороченным карманом шинели.

Паша Туманов положил фуражку возле себя на стул и старательно вправил карман на место, причем рука его нащупала в нем еще несколько кусочков раздавленного пирожка, который ему дали, когда он утром выходил из дому.

И вдруг ему стало чего-то ужасно жалко, и сам он стал в своем представлении маленьким-маленьким.

Паша Туманов заплакал, сначала тихо, а потом все громче и громче.

Секретарь испугался. Он вскочил, уронил перо и, налив в стакан воды из стоявшего на окне графина, поднес ее Паше. Но Паша Туманов не пил и рыдал, захлебываясь и трясясь, как в лихорадке.

– Ну, ну, полно, что вы... пустяки... это ничего... выпейте воды... – бормотал испуганный секретарь и вдруг, повинаясь непонятному ему светлому движению души, неожиданно для самого себя, погладил Пашу по голове и пробормотал: – Бедный мальчик!

Паша услышал это жалкое слово, и плач его перешел в истерические рыдания. Ему показалось, что на всем свете нет человека, который пожалел бы его, кроме этого секретаря. И Паша Туманов, уткнувшись головой в жилет секретаря и больно царапая нос о форменную пуговку, зарыдал еще больше.

Секретарь беспомощно оглядывался вокруг.

IV

Накануне этого дня, около двенадцати часов ночи, Паша Туманов лежал на старом диванчике, который служил ему постелью, и, положив под голову помятую подушку, от которой ему было жарко и неудобно, глядел внимательно и напряженно, как лампа мягко и ровно светила со стола из-под толстого зеленого абажура. На столе ярко были освещены книги и тетради, красная ручка резко торчала из чернильницы; ближе к Паше чернел силуэт спинки стула, а возле него все мягко стушевывалось в зеленоватом полусумраке.

Паша Туманов лежал, тупо и неподвижно уставясь в одну точку, хотя и знал, что каждый час дорог. Он лег с отчаяния, когда убедился, что усилия его в два-три дня пополнить все, упущенное за семь лет, ни к чему не приведут, и теперь не чувствовал силы вновь при- няться за долбежку.

Почему так много, неопределенно много было упущено, Паша не знал. Отчасти это случилось по лени, отчасти по обстоятельствам, от Паши не зависящим, а главным образом оттого, что настоящая, действительная жизнь целиком захватывала своими интересами живого Пашу Туманова, а эта жизнь шла далеко в стороне от мертвой, неподвижной гимназии.

Когда Паша окончательно понял истинное положение дела и убедился, что не может обмануть самого себя относительно его безнадежности, им овладело тупое отчаяние, граничащее с апатией. Он отошел от стола, даже не закрыв книги, лег на диван и чувствовал всем существом своим, что он глубоко несчастен. Одновременно с чувством жалости к себе у него закипало и глухое озлобление против людей, которых он считал виновными в своем несчастье, – против директора гимназии и преподавателя латинского языка. Он ошибался: причины его несчастья заключались вовсе не в этих двух чиновниках министерства народного просвещения, не в их относительных достоинствах и недостатках, как преподавателей, людей и чиновников, а в том противоестественном положении вещей, по которому двадцатилетнего юношу, жаждущего смысла и интереса в жизни, заставляли зубрить неинтересные, лишённые жизненного смысла учебники и, наоборот, лишали того, чего он в течение всей юности добивался. Тем не менее Паша Туманов именно директора и учителя Александровича считал причиной того, что он несчастен, а завтра, наверное, будет еще несчастнее. Чувство озлобления, тяжелого для его доброго и мягкого сердца, все усиливалось и доходило минутами до того безобразного кошмара, в котором человек с мучительным наслаждением, свойственным только больному организму, припоминает какие-нибудь ничтожные подробности – вроде походки, голоса, манеры говорить – человека, казущегося ему врагом, и находит эти подробности до того противными, мерзкими, что мысленно плюет на них, топчет их и издевается над ними.

Паша стал задыхаться в удушливой атмосфере своего озлобления. Ему казалось, что даже огонь лампы упал и стал каким-то тяжелым, зловещим; а шум в ушах превращался то в глухой шепот за стеной, то в уныло доносящуюся откуда-то издалека тягучую песню ненависти и тоски. Паша понимал, что надо стряхнуть с себя это тягостное состояние, но тупая и вялая безнадежность пересиливала его волю, и он продолжал неподвижно лежать и страдать нравственно и физически.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.